### Музейный экспонат

#### Роджер Желязны

Когда действительность убедила Джея Смита, что искусству нет места в пустом и легкомысленном мире, Джей Смит решил оставить этот мир. Однако брошюра «Йога — Путь к Освобождению», выписанная им по почте за 4 доллара и 98 центов, не помогла ему освободиться от уз обыденности. Напротив, она даже усугубила зависимость Джея Смита, уменьшив его покупательную способность на 4 доллара и 98 центов — а хлеб насущный в этом мире, увы, приходится покупать.

Сосредоточившись в позе лотоса, Смит углубленно созерцал свой пупок, — но это приближало его не к освобождению, а только к осознанию, что с каждым новым днем пупок неуклонно приближается к позвоночнику. И если идею Нирваны можно счесть вполне эстетичной, то идею самоубийства таковой назвать трудно (притом на самоубийство не у всякого хватит духу, — да и откуда взяться крепкому духу в немощном теле?). Поэтому посредством ряда изящных рассуждении Смит отказался от этой мысли.

— Как легко лишить себя жизни в идеальной обстановке! — вздыхал он, меланхолично откидывая со лба золотистые пряди (отросшие, по очевидной причине, до внушительной классической длины). Воображаю толстого стоика в его мраморной ванне: вот он, овеваемый опахалами прекрасных невольниц, потягивает вино, а верный лекарь-грек, не поднимая глаз, почтительно вскрывает ему вены. В сторонке, вот здесь, допустим, — вздыхал он еще глубже, — нежная черкешенка бряцает на лире, аккомпанируя его голосу; он же диктует свою надгробную речь, ту, которую вскоре прочтет, не скрывая слез, благородный соотечественник. О, сколь же легко им было! Таков ли путь нынешнего художника? Вчера лишь рожденный, сегодня уже презираемый, во мраке безвестности одиноко ступает он, как слон к месту своего успокоения!

С этими словами Смит поднялся во весь свой шестифутовый рост и всмотрелся в зеркало. Окидывая взглядом свою мраморно белую кожу, высокий лоб, прямой нос и широко расставленные глаза, он подумал: поскольку художник не может жить искусством, не попытаться ли осуществить, если можно так выразиться, обратный процесс?

Он напряг мышцы, верно служившие ему все четыре студенческих года; отрабатывая ими половину стоимости обучения, юный Джей мог без особых помех, воспарив над мирской суетой, создавать собственное направление в искусстве: двумерную раскрашенную скульптуру.

«Для непредвзятого взгляда, — писал о ней некий ехидный критик, — работы мистера Смита — не то фрески без стен, не то просто взбесившиеся линии. В отношении первых вряд ли возможно превзойти этрусков — поскольку их фрески, по крайней мере, знали свое место; а что до вторых — воспитанники любого детского сада достаточно ловко владеют упомянутым искусством».

Ловко! Всего лишь — ловко! Тьфу! С души воротит от этих Джонсонов-любителей лезть со своим уставом в чужой монастырь!

С удовлетворением Джей констатировал, что вынужденный аскетизм убавил его вес за последний месяц, на тридцать фунтов и рассудил, что вполне готов воплотить Поверженного Гладиатора эпохи упадка Рима.

— Решено! — провозгласил он. — Я стану искусством.

Под вечер того же дня одинокая фигура со свертком появилась в Музее Изящных Искусств.

Возвышенно изможденный (но тщательно выбритый вплоть до подмышек), Смит слонялся по греческим залам, пока там не остались только статуи и он сам. Выбрав уголок потемнее, он установил себе пьедестал. Все потребное для существования в качестве скульптуры (включая одежду) поместилось внутри этого ящика.

— Прощай, мир, неблагосклонный к своим художникам! — промолвил Смит, восходя на пьедестал.

Нет, совсем не напрасно оказались потраченными 4 доллара и 98 центов из продуктовых денег, ибо благодаря Пути к Освобождению Смит научился сохранять истинно мраморную неподвижность всякий раз, когда немолодая учительница младших классов, отягощенная нелепой прической и четырьмя десятками питомцев, бесцеремонно вторгалась в его владения (что происходило регулярно по вторникам и четвергам между 9. 35 и 9. 40 утра). К счастью, он предусмотрительно избрал сидячую позу.

К концу недели Смит точно установил соответствие между эволюциями музейного сторожа и звоном огромных часов в соседнем зале (превосходный образчик искусства XVIII века — эмаль, золоченые листья и множество ангелочков, игриво порхающих друг за другом). Ему совсем не хотелось быть похищенным в первую же неделю своей музейной карьеры: что могло бы ожидать его, кроме скучного места в третьестепенной галерее или унылого существования в сугубо частной коллекции не вполне честного коллекционера? Поэтому он был весьма осмотрителен в своих набегах на музейный буфет и благоразумно вступил в союз с золочеными ангелочками. Дирекции не приходило в голову защищать холодильник и кладовку от экспонатов, и Смит готов был искренне приветствовать подобную недогадливость. Он довольно умеренно прикладывался к ветчине с хлебом, но десятками порций поглощал мороженое. Через месяц ему пришлось заняться силовой гимнастикой.

— О, утраты! — вздыхал он в залах Новейшего Периода, оглядывая безмолвное царство, на которое некогда притязал. Он скорбел над «Павшим Ахиллесом» как над родным (впрочем, «Ахиллес» и был его собственным произведением).

Он узнавал себя, как в зеркале, в хитроумной мешанине из болтов и ореховой скорлупы. ''Если б ты не сдался, — говорил он себе с обидой, — если бы ты продержался подольше, как эти простейшие творения искусства...» Но нет! Это было невозможно!

— Или возможно? — взывал он к удивительно симметричному мобайлу (Мобайл — подвижная абстракционистская скульптура.) над ним. О, возможно ли?

— Пожалуй, — донеслось откуда-то, и Смит вихрем взлетел на пьедестал.

Ничто, однако, не угрожало ему. Музейный сторож вкушал греховные радости перед пышной рубенсовской наядой в дальнем крыле и потому при всем желании не мог участвовать в разговоре. Смит рассудил, что услышанное свидетельствует о его приближении к Высшей Истине. Он вернулся на Путь, удвоил свои усилия оторваться от земного и выглядел совершенно «Поверженным».

С тех пор не раз доводилось ему слышать сдавленный смешок или невнятный шепот. Вначале он оставлял их без внимания, считая шутками лукавых чад Мары и Майи, пытающихся сбить его с Пути. Постепенно у него возникли сомнения, но он решил ничего не предпринимать, придерживаясь стратегии пассивного наблюдения.

Но вот в один прекрасный день — золотой и зеленый, как поэма Дайлана Томаса-юная дева вошла в греческий зал и огляделась украдкой. Нелегко оказалось Смиту сохранять свою мраморную безмятежность, когда она — о зрелище! — стала сбрасывать с себя одежды.

Правда, гораздо больше взволновал его квадратный ящик, который она притащила с собой.

Конкурентка!

Он кашлянул — негромко, вежливо, классически...

Она рванулась и замерла, живо напомнив ему рекламу дамского белья «Фермопилы». Волосы у нее были как раз подходящего цвета — изысканный оттенок паросского мрамора — а серые глаза льдисто блестели, как у Афины.

Она осмотрела зал — пристально, опасливо, взволнованно.

— О нет, — сказала она наконец, — что-что, а камень не подвержен вирусным инфекциям. Это моя нечистая совесть кашляет здесь в пустоте. Знай же, совесть, отныне я отвергаю тебя!

Следом за тем она приняла вид Скорбящей Гекубы — как раз наискосок от Поверженного Гладиатора (но, к счастью, обратясь к нему спиной). Смит с неохотой признал, что держать позу девушка умеет: очень скоро она достигла полной неподвижности. Профессионально одобряя ее, он отметил, что Древняя Греция воистину была матерью всех искусств: никто не смог бы проделать подобного в экспозиции, скажем, эпохи Ренессанса. Эта мысль его порадовала.

Когда, наконец, огромные двери закрылись и свет померк, незнакомка облегченно вздохнула и спрыгнула с пьедестала.

— Рано, — предупредил он. — Через девяносто три секунды пройдет сторож.

У девушки хватило духа зажать себе рот прекрасной ручкой. Шесть секунд для этой операции и 87 секунд для вторичного превращения в Гекубу. Она мгновенно окаменела, и все 87 секунд он мог любоваться ее редкостным самообладанием и не менее редкостной формой ее руки.

Сторож пришел, прошел и ушел, поводя фонарем и бородой в таинственных сумерках музея.

— Господи! — вздохнула девушка. — Я-то думала, что я здесь одна!

— Так и было, — подтвердил он. — «Одинокими и нагими вступаем в изгнание... Меж ярких звезд, в золе былых желаний, затерянные... о, затерянные...»

— Томас Вулф, — определила она.

— Да, — вздохнул он. — Пошли поужинаем.

— Поужинаем? — девушка удивленно вскинула брови. — А где? Я принесла с собой армейские пайки — купила на дешевой распродаже.

— Сразу видно новенькую, — заметил Смит. — По-моему, сегодня в меню курица. За мной!

Они выбрались на лестницу через Китай эпохи Тан.

— Кое-кто мог бы сказать, что по ночам здесь промозгло, — начал Смит, — но вы, я вижу, неплохо владеете дыханием.

— О да, — подтвердила она, — мой приятель был не просто увлечен дзен-буддизмом: его путь в Лхасу был гораздо круче! Он написал собственный вариант «Рамаяны», полный глубоких иллюзий и советов современному обществу.

— И как отозвалось современное общество?

— Увы! Общество о нем не узнало. Мои родители вручили Арту билет в Рим первым классом и несколько сот долларов туристскими чеками. С тех пор я ничего о нем не слышала... и потому решила удалиться от мира.

— Как видно, ваши родители чужды возвышенному?

— Да... Думаю, они его еще и припугнули. Смит кивнул.

— Такова награда гению в этом несовершенном мире! И я в меру своих сил тщился просветить его — но лишь хула была мне воздаянием.

— Правда?

— Увы! На обратном пути зайдем в современный период — я покажу своего «Павшего Ахиллеса». Тут раздался весьма неприязненный смешок.

— Кто здесь? — встревоженно спросил Смит. Ответа не последовало. Они были в расцвете Римского Искусства, и лишь каменные сенаторы пялились на них безжизненными глазами.

— Здесь кто-то смеялся, — определила девушка.

— Мы не одни, признал, пожав плечами, Смит. — Я не в первый раз слышу подобное; но кто бы они ни были, они не разговорчивее траппистов, — и слава богу!

— Не забудь, мы тоже всего лишь камень! — провозгласил он жизнерадостно, увлекая спутницу к буфету.

Однажды ночью они ужинали в Современном Периоде.

— Какое имя носили вы в своем прошлом воплощении? — поинтересовался он.

— Глория, — шепнула она. — А ваше?

— Смит, Джей.

— Не будет ли чрезмерной дерзостью спросить вас, Смит, что именно побудило вас обратиться в статую?

— О нет, — он улыбнулся загадочно. — Одни рождены для безвестности, другие же достигают ее непрестанными усилиями. Я принадлежу к последним. Непризнанный и разоренный, я решил стать памятником самому себе. Здесь тепло, внизу всегда найдется пища. Все здесь мне знакомо, и меня, при всем желании, не найдут, потому что никто никогда не присматривается к статуям в музеях.

— Неужели никто?

— И никогда, — как вы должны были догадаться. Детей приводят сюда насильно, молодежь приходит разглядывать друг друга, а к тому времени, когда человек становится способен заметить что-нибудь постороннее, он уже или страдает близорукостью, или подвержен галлюцинациям. Первый ничего не разглядит, второй — никому не скажет. Так проходит земная слава!

— Тогда зачем вообще нужны музеи?

— Милая девушка! Услышав такие слова от бывшей нареченной истинного художника, я могу, заключить, что ваша близость была столь мимолетной...

— Ах, что вы! — прервала она. — Прошу вас — наша дружба!..

— Хорошо, пусть дружба, — поправился Смит. — Но музеи — они отражают прошлое, которое мертво, в настоящее, которое ничего не замечает, и передают культурное наследие будущему, которое еще не родилось. В этом они подобны храмам.

— Это мне не приходило в голову, — призналась она. — Красивая идея! Почему бы вам не пойти в преподаватели?

— Им плохо платят. Но ваша мысль меня утешает. Пошли еще раз обчистим холодильник?

Они доедали последнее пирожное и обсуждали «Павшего Ахиллеса», расположившись под огромным мобайлом, смахивающим на истощенного осьминога. Смит говорил о своих великих идеях и о злобных критиках, бездушных и бесталанных кровопийцах, что обитают в воскресных изданиях и ненавидят все живое. Она же рассказывала о своих родителях, которые знали Арта и знали, почему он не должен был ей нравиться; а также об их солидном состоянии, надежно вложенном в лес, недвижимость и нефть. Он сочувственно погладил ей руку; она опустила ресницы и улыбнулась эллинистически...

— Вы знаете, — признался он наконец, — сидя изо дня в день на этом пьедестале, я часто говорил себе: быть может, мой долг — вернуться и еще раз попробовать открыть глаза обществу! Быть может, сумей я освободиться от грубых земных нужд... Доведись мне повстречать женщину, подобную... но нет! нет, я не знаю такой! Увы!..

— Говорите! — вскричала Глория. — Прошу вас, продолжайте! Ведь и меня, признаюсь, посещала мысль, что иной художник мог бы избавить меня от мук... Что лед одиночества, сковавший мою душу, мог бы растаять под взглядом нового творца красоты! Если мы...

В этот самый момент малорослый и чрезвычайно некрасивый мужчина в тоге звучно прочистил горло и объявил:

— Вот этого я и боялся.

Был он тощ, морщинист, неопрятен и несомненно страдал язвой желудка и разлитием желчи. И он, указуя на них обвиняющим перстом, повторил:

— Именно этого я и боялся!

— В-вы кто? — спросила Глория.

— Кассий, — представился он. — Кассий Фитцмюллен, критик на покое из «Дальтон Таймс». А вы собрались дезертировать?

— Вам-то что до этого? — уточнил Смит, поигрывая античными мускулами.

Кассий покачал головой.

— Что до этого? Вы представляете собой угрозу всему нашему образу жизни! Если вы уйдете, то станете, разумеется, художником либо педагогом — и, рано или поздно, вольно или невольно, словом или жестом выдадите то, о чем давно подозревали. Я слышал все ваши разговоры. Вам известно — теперь уже точно известно — что здесь находят последний приют все критики: старея, мы сходимся сюда изображать то, что так ненавидели в прошлой жизни. Вот почему с каждым годом число римских сенаторов растет.

— Я давно подозревал нечто подобное, — сказал Смит, — но не был уверен.

— Довольно и подозрения. Вы опасны и подлежите суду!

С этими словами Кассий хлопнул в ладоши и возгласил:

— Суд!

Процессия древних римлян медленно вступила в зал и окружила влюбленных. От них веяло пылью, старой бумагой, желчью и временем.

— Они желают вернуться к человечеству! — объявил Кассий. — Уйти и унести с собой свое знание!..

— Мы же не скажем! — всхлипнула Глория.

— Поздно! — сурово ответил один из критиков. — Вы внесены в каталог!

Он извлек из тоги брошюру и зачитал:

— Номер 28 — «Скорбящая Гекуба». Номер 32 — «Поверженный Гладиатор». Поздно! Ваше исчезновение будут расследовать.

— Суд! — повторил Кассий.

Сенаторы медленно обратили большие пальцы вниз.

— Вы отсюда не уйдете.

Смит усмехнулся и ухватил сенаторскую тогу крепкими пальцами скульптора.

— Ничтожный человечек, как думаешь ты задержать нас? Довольно Глории взвизгнуть — и сюда прибежит сторож. Довольно мне размахнуться — и ты неделю не встанешь!

— Сторож спит, а его слуховой аппарат мы отключили. Критики тоже, знаете ли, понимают в таких вещах! Отпусти меня, не то будет хуже!

— Давай-давай! — Смит наматывал материю на кулак.

— Суд! — с усмешкой повторил Кассий.

— Он предавался современному искусству, — сказал один из сенаторов.

— Следовательно, у него наклонности христианина, — заявил другой.

— Христиан — ко львам! — заключил третий и хлопнул в ладоши.

Смит увидел в темном углу зала нечто шевелящееся — ив ужасе отскочил. Кассий оправил тогу.

— Вы не имеете права! — закричала, закрывая лицо руками, Глория. — Мы же из греческого периода!

— Среди римлян поступай по-римски, — хихикнул Кассий.

По залу прошел острый кошачий дух.

— Как вы ухитрились? Откуда здесь лев? — полюбопытствовал Смит.

— Одна из форм гипноза, необходимая в нашей профессии, — благодушно пояснил Кассий. — Большую часть дня он у нас спит. Вы не задумывались, почему из этого музея никогда ничего не крадут? А были попытки, были! Но мы, хе-хе, блюдем свои интересы.

Тощий лев-альбинос, по целым дням украшавший главный вход, неслышно вышел из темноты и зарычал, — коротко, но громко. Смит заслонил собой Глорию. Когда лев приблизился, Смит оглянулся — но ни одного сенатора уже не было; лишь в отдалении еще слышался топот кожаных сандалий.

— Мы одни! — встрепенулась Глория.

— Бега! — приказал Смит. — Я задержу его. Постарайся спастись!

— Покинуть тебя? Ни за что, любимый! Вместе — сейчас и до конца!

— Глория!

— Джей!

В этот момент лев возымел намерение броситься на добычу — и не стал тянуть с его осуществлением.

— Прощай, возлюбленный!

— Прощай! Прошу тебя — один поцелуй перед смертью.

Лев прыгнул, испуская хриплый рык и сверкая зелеными глазами.

— Согласна! Их уста слились.

Лев навис над ними — грозно, неотвратимо, надолго... Потом вдруг завертелся, размахивая лапами в том пустом пространстве между потолком и полем, для которого архитекторы не придумали специального названия.

— М-мм... Еще?

— Почему бы и нет? Жизнь так прекрасна! Минута пролетела незаметно... За ней прошла вторая.

— Слушай, а на чем там висит этот лев?

— На мне, — отозвался мобайл. — Вы, люди, не единственная жизненная форма, ищущая утешения среди реликвий своего прошлого!

Голос был тоненький и хрупкий, как у чем-то озабоченной эоловой арфы.

— Я бы не хотел показаться чрезмерно любопытным, — заговорил Смит, — но кто вы?

— Пришелец, — прозвенел тот, доедая льва. — Мой корабль попал в аварию на полпути к Арктуру. Я быстро уяснил, что на вашей планете моя внешность не пользуется признанием — за исключением музеев, где я могу сойти за экспонат. Принадлежа к довольно чувствительной и, я бы даже сказал, несколько самовлюбленной расе, — тут он изящно рыгнул, — я нахожу свое нынешнее положение весьма привлекательным: меж ярких звезд, в золе былых желаний, — он опять музыкально рыгнул, — затерянный...

— Ясно, — сказал Смит. — Спасибо, что скушали льва.

— Не за что — хотя я бы не сказал, что это было слишком благоразумно. Я, видите ли, теперь вынужден буду делиться. Нельзя ли второму мне пойти с вами?

— Пожалуйста! Вы спасли нам жизнь, и нам все равно надо будет чем-нибудь украсить гостиную, когда мы ею обзаведемся.

— Хорошо.

Пришелец раздвоился, испустив поток мелодических трелей, и свалился на пол.

— До свиданья, я! — крикнул он наверх.

— До свиданья, — донеслось оттуда.

С достоинством и важностью прошествовали они через Современность, миновав по дороге греческий и римский периоды. Бывшие Гладиатор, Гекуба и Пришелец стащили ключи у спящего сторожа, открыли двери и зашагали прочь от музея веселыми ногами и псевдоподиями.